

Иван Иванович Панаев

**Петербургский
фельетонист**



Иван Иванович Панаев

Петербургский фельетонист

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=660135*

Аннотация

«История детства будущего фельетониста – история детства многих из средних дворян. Попечительные и нежные родители, как водится, пичкают в него булки и пряники с утра до ночи. Аппетит у дитяти изрядный, потому что он целый день в движении, целый день бегает по двору да гоняет кнутом дворовых мальчишек, огрызаясь с бабами и лакеями. Между тем он кое-чему и учится – и даже зубрит (употребляя школьное выражение) французские вокабулы...»

Содержание

I	4
II	15

Иван Иванович Панаев

Петербургский фельетонист

*Я сам по примеру твоему, душа Тряпичкин, хочу
заняться*

*литературой. Скучно, брат, так жить, хочешь
наконец пищи для*

*души. Вижу: точно, надо чем-нибудь высоким
заняться...*

Ревизор

I

История детства будущего фельетониста – история детства многих из средних дворян. Попечительные и нежные родители, как водится, пичкают в него булки и пряники с утра до ночи. Аппетит у дитяти изрядный, потому что он целый день в движении, целый день бегает по двору да гоняет кнутом дворовых мальчишек, огрызаясь с бабами и лакеями. Между тем он кое-чему и учится – и даже зубрит (употребляя школьное выражение) французские вокабулы. Лет в двенадцать он уже достаточно вытянулся. Попечительные и нежные родители (у которых от 200 осталось только 45

заложенных и перезаложенных душ) находят неприличным держать его долее дома и отсылают в Москву в пансион. В пансионе его учат всему понемножку и ничему не выучивают; однако лет в пятнадцать он переводит с французского на русский довольно сносно и начинает чувствовать страстишку к чтению. На школьной лавке, потихоньку от гувернеров и учителей, перечитывает он все романы (в переводах) от г-ж Котень и Жанлис до Вальтера Скотта включительно.

Эти романы возбуждают в нем неопределенное и тревожное желание самому сделаться сочинителем.

Учитель словесности – педант-семинарист – своими похвалами еще более раздражает в нем это желание. И герой мой в свободные от лекций часы сидит в углу классной комнаты и там на лоскутках бумаги все пишет и написанное тщательно прячет от всех.

Однажды, когда он сидит над лоскутком, грызет перо, качает головой и бормочет что – то сквозь зубы, один из его товарищей ловко подкрадывается к нему и уносит его заветный лоскуток с стихами... Будущий фельетонист вскрикивает от испуга, с ожесточением бросается на товарища; но тот одним толчком обезоруживает бессильного поэта и убегает от него с своим приобретением... Через две минуты весь пансион окружает сочинителя. «У! у! сочинитель! сочинитель!» – кричат мальчишки, дразня его языком, смеясь и прыгая около него. С тех пор ему не дают покоя; но, несмотря на преследование товарищей, охота писать не оставляет

его. Он постоянно пачкает бумагу или читает разрозненные томы русских журналов.

Наконец ожесточение против него товарищей мало-помалу прекращается: они, смеясь над ним, не шутя приучаются к мысли, что он сочинитель. И бедняжка (ему почти семнадцать лет) несколько ободряется: он, в подражание тем журналам, которые читал, хочет и сам издавать журнал для своего класса. Он покупает для будущего журнала прекрасную тетрадку, две недели расписывает заглавный лист, две недели разрисовывает виньетку. Когда же и заглавный лист и виньетка окончены, он начинает думать о содержании своего журнала, пишет для него и стихи, и повести, и критики... Стишки и повести немного затрудняют его. «Подбирать рифмы не легко, выдумывать сюжетцы для повестей также трудновато, – думает он, – критика легче, а может быть, она мое „истинное призвание“ (эту фразу он – плут – вычитал в журнале). Критика?.. Что, если я буду когда-нибудь настоящим сочинителем? Кажется, можно сойти с ума от радости, видя в печати свои сочинения!..»

И, отдаваясь этим соблазнительным мечтам, он – тихий и скромный мальчик – аккуратно и красиво переписывает свои сочинения в тетрадку. Проходят два месяца: вся тетрадка исписана, журнал готов, он уже переходит из рук в руки. Страшная минута для издателя!.. У него замирает дух.

Чем-то решится его участь?.. Но над ним уже не смеются, его читают, его даже немножко похваляют... Весело быть

сочинителем!

Скоро затворническая жизнь его кончится; из мальчика он делается молодым человеком и держит экзамен в университете.

Он уже студент! Он вместо отложных воротничков носит галстук; он без провожатого ходит по московским улицам и бульварам; он после лекций забегает в лавку Пера съесть пирожок. Перспектива жизни открывается перед ним: сколько соблазнов! Театр, слоеные пирожки, хорошенькие девушки, вино и журнальные статейки...

Молодой человек, помаленьку пользуясь жизнью, переходит во второй курс; физиономия его принимает более серьезное выражение. Он надевает очки, зеваает в лекциях, робко подглядывает под шляпки, насвистывает водевильные куплеты и грезит о будущей литературной славе своей, переводя между тем, для собственного удовольствия, разные мелкие повести и стишки из французских журналов.

Очки придают ему некоторую важность и рождают в нем маленькую самонадеянность... «А почему же мне не попытаться, – говорит он самому себе, поправляя очки, – почему не попытаться отослать хоть один из моих переводов в журнал? Очень вероятно, что и напечатают... слог, кажется, не дурен... Право, отошло!»

Письмо и статьи отосланы. С этой минуты болезнь ожидания овладевает молодым человеком... Перед выходом книжки журнала он начинает чувствовать лихорадку и биение

сердца. Книжка вышла... Толкая и сбивая с ног всех встречающихся, бежит он в книжную лавку. Его узнать нельзя: он без очков, пот льется ручьями по лицу его, он тяжело переводит дыхание, он, заикаясь, едва может сказать сидельцу книжной лавки:

– Дайте мне, пожалуйста... посмотреть... последний номер...

С жадностью схватывает он поданную ему книжку, боязливо переворачивает лист за листом; руки его дрожат... о боже!.. Он не верит глазам своим... напечатан, перевод его напечатан!.. Он прочитывает его от начала до конца, потом от конца до начала... И поправок не так много!.. Он любит печатными буквами и не налюбуется. С трудом отрывается он от книжки – и возвращается домой, с неописанным восторгом, напевая водевильный куплетец.

Участь его решена окончательно. Он уже считает себя литератором и говорит одному офицеру, своему родственнику, приехавшему в отпуск в Москву из Харькова:

– Я, душа моя, завален переводами, я ведь главный сотрудник в журнале NN.

– Bravo! – замечает офицер, крутя ус и прищелкивая языком, – прямо в Пушкины лезешь!

Студент не может скрыть приятной улыбки, крепко жмет руку офицера и бежит к журналисту, чтоб начать поскорее пожинать литературные лавры. Журналист принимает его с сухою важностью, но когда молодой человек с трепетом объ-

являет, что готов безденежно и постоянно трудиться в его журнале – строгое и мудрое чело журналиста проясняется.

«Безденежно! – думает журналист, – а, это дело другое!.. Этот молодой человек очень порядочный, по всему видно; я очень люблю этаких горяченьких новичков! К тому же переводит он так себе – ничего. Мы им воспользуемся...» Журналист мысленно прогоняет уже от себя своего сотрудника, который брал с него по 20 р. за переводный лист – и, обращаясь к моему герою, с улыбкою произносит:

– Не хотите ли трубочки, почтеннейший? а? Я почитаю корректуру, приищу вам кое – какую работу, а вы посидите покуда да покурите...

О счастье!.. Благоговейно осматривает молодой человек комнатку, в которую, по его мнению, допускаются только светила ума, избраннейшие из избранных... Груды рукописей, книг, газет и журналов французских и немецких разбросаны по столам, пыльные и в беспорядке; корректуры валяются по полу. (В то время журналисты еще не украшали себя цветами и мебелью Гамбса.) Что-то таинственное и заманчивое для героя моего в этой довольно грязной комнатке журналиста. И властелин этой комнатки, он, этот великий человек, для которого не существует никаких литературных тайн, – он, владетель этих бумажных и пыльных сокровищ, могучий раздаватель славы и бессмертия, грозный и неумолимый судья, – сидит перед ним, перед бедным и неизвестным студентом, и ставит чародейственные каракульки все-

сильным пером своим на грязных корректурных листах... Дивные минуты! Студент мой готов для этого великого человека трудиться не только безденежно, он был бы рад отдать ему собственные деньги, если б они у него были, за лестное позволение участвовать в его журнале... Бедный фельетонист, – в сию минуту жалкое орудие презренной воли своего барина, какого-нибудь торгаша-газетчика или журналиста, комок грязи в предательской руке его! Ты, может быть, забыл эти дни своей невинности, бескорыстные мечты своей светлой юности!..

Но к чему отступления?

Герой мой скоро из студента превращается в кандидаты; старичок отец его умирает; матери его давным-давно нет на свете. Он круглый сирота – он вольная птица и наследник 45 заложенных и перезаложенных душ. Он продает их и выручает за уплатою долга 5 000.

Школьные тетради под столом, бутылка шампанского на столе; ломбардный билет разменен.

– Чокнемся, мон-шер! – говорит он своему родственнику-офицеру, который уже вышел в отставку и женился в Москве. – Я теперь не менее тебя чином: я кандидат. Не шути, брат, со мною!

– Чокнемся, дружище, чокнемся! – со вздохом отвечает отставной офицер, – что чины, братец, не в чинах дело! Была бы воля своя. А то... (офицер махает рукою). Не женись, Петя, не женись, милый... Напиши-ка, братец, куплеты против

женитьбы. Ей-богу, напиши... а уж я вот какое тебе скажу за это спасибо...

К новому кандидату очень к лицу его форменный фрак с пуфами на плечах, с высоким воротником и длинными фалдами! Блестящая пуговица сверкает на его черной манишке; подбородок его то ныряет в пестрый волнистый галстук, то снова выскакивает на его поверхность; лицо лоснится самодовольствием. Комнатка его убрана с большим вкусом. На стене висят картиночки и портретцы великих людей. На этажерке стоит серебряная сахарница, четыре книжки в ярком переплете и бумажник, подаренный кузиною, на котором стальным бисером по розовому полю вышито: *souvenir*. Он – сидит за письменным столиком своим и сочиняет статейку, под заглавием: «Теория и практика красноречия», – глубокомысленная статейка!

Все бедные кандидаты начинают обыкновенно свое служебное поприще с учительства. И мой молодой человек делается также учителем.

Начальство тех заведений, где он учит, довольно его аккуратностию. Его похваляют и дают ему награждение. Слухи о его способностях и главное – аккуратности распространяются по Москве. Родители его ищут, он в иных домах получает уже по десяти рублей за час!

Жизнь шире и шире раздвигается перед ним. Иногда он обедает у Яра, а после обеда играет у приятеля в преферанчик и вистик; он танцует на замоскворецком балку. Он не

пропускает ни одного представления, когда Мочалов играет в трагедии... А деньги выходят незаметно. Проклятые деньги! Прощайте же вы – невинные грезы юности! Прощайте и вы, труды бескорыстные!

«Не хочу печатать в журнале ни одной строчки без денег! – думает он, притопнув решительно ногой. – Надо же попить да повеселиться!..»

В свое время и любовь идеальная приходит. Как же без идеальной любви? Герой мой влюбляется в барышню, вздыхает, пишет стишки «К ней» и печатает их; он, разнеживаясь смотрит на милую воровку своего покоя, а отставной офицер подходит к нему, ударяет его по плечу и говорит: «Ах ты, Марлинский этакой! Ну, смотри, мечтатель!.. Держи ухо остро, братец, а то и не увидишь, как скрутят!..»

Впрочем, герою моему и не нужно предупреждения. Он влюбился больше для того, чтоб только писать стишки «К ней». У него уж теперь не любовь на уме... Ему смертельно хочется сделаться редактором какой-нибудь газеты, какого-нибудь повременного издания. Вот как! Эта мысль беспощадно повсюду гоняется за ним. Мысль хорошая! Говорят, будто бы, точно, очень лестно для самолюбия увидеть в конце газеты или хоть биржевого прејскуранта свое имя, набранное капителю! У моего молодого человека нет ни малейшей надежды выхлопотать себе позволение издавать журнал или газету, – несмотря на то, он все пишет программы журналов и газет и все толкует об литературной добро-

совестности и благонамеренности...

Но в Москве скоро становится ему неловко и скучно. Там нет газет, там нет фельетонной литературы, там не любят легкого чтения...

То ли дело Петербург!.. Петербург только и хлопочет о деньгах. Там раздолье литературным спекулянтам, шутам и гаерам... Там ловкие люди приобретают великие капиталы различными литературными проделками; там пользуются литературной славой – господа, не написавшие ни одной строки... Там... но мало ли чего нет там? Вот отрывок из письма, которое автор «Теории и практики», будущий петербургский фельетонист, получил от одного петербургского действительного фельетониста – своего друга.

«Да, Петя, ваша Москва деревня в сравнении с нашим Петербургом... Что тебе без всякой славы и вознаграждения работать в московских журналах, о существовании которых у нас и не подозревают? Я знаю, что ты получаешь там не больше 25 руб. за оригинальный лист, хоть и прикидываешься, плут, будто не берешь менее 150 р., а здесь 4 000 р. в год получает всякий корректор. Здесь, душа, корректурую наживают себе славу... Я скажу тебе про себя, что, кроме жалованья, известного тебе, я пользуюсь и другими невинными доходцами: все кондитеры, например, меня знают; я всякий день захожу в кондитерские и ем даром просто сколько душе угодно; волочусь, дружок, без пощады; креманом меня так и обдают и купцы, и актеры, и офицеры... Сло-

вом, здесь настоящий рай земной... Образование в Петербурге распространено во всех классах: когда я иду по Невскому, то все проходящие говорят: „А вон идет фельетонист такой-то...“ Что, кончил ли ты свой водевильчик, который читал мне прошлого года, в последний приезд мой в Москву? Некоторые куплетцы у тебя, я помню, чудо! Я сам накалал водевильчик...» – и проч.

– В Петербург! в Петербург! – восклицает герой мой, прочитав эти строки... – У меня есть в Петербурге знакомый журналист; напишу к нему и предложу себя к его услугам. Он человек добросовестный – это важное дело; мы с ним, верно, сойдемся... Я наживу себе в несколько лет капиталец, – заведу, может быть, со временем свой экипажец, своих лошадок... А между тем и службой займусь. В Петербурге нельзя не служить... Деньги – деньгами, а чины – чинами. Одно другому не мешает... Напротив... Я буду принадлежать к самой добросовестной литературной партии... – и прочее...

Известно, что русская литература, в существовании которой еще многие очень умные люди сомневаются, делится на партии; говорят, будто бы вследствие этого и читающая публика также разделяется на партии... К какой же партии принадлежите вы, мой читатель?

II

Вот что пишет герой мой к другу своему, петербургскому фельетонисту:

«Дело решено, душа моя, я еду в Петербург. Мебель свою я продал, укладываю картинки, – боюсь, чтоб в дороге стекла не перебились; приищи мне квартирку, *mon cher*, тебе это легко; ты со всеми знаком и все знаешь. Я сошелся с А** на выгодных условиях. Фельетон газеты будет в моем полном распоряжении. Один мой знакомый приискал мне также место в ** департаменте. Сумма, которую я буду получать, обеспечивает мою жизнь, даже можно будет и пожуировать раз в месяц. Впрочем, только бы мне добраться до Петербурга, а деньги наживать станем; у меня теперь в запасе три водевиля, которые я переделал с французского. Пущу их на петербургскую сцену. В этих водевилях, я тебе скажу по совести, есть куплетцы презабористые... Надеюсь, душа, что хотя мы фельетонисты двух враждебных газет, но это не помешает нашим приятельским отношениям. В моей добросовестности сомневаться тебе нечего. Хочу также, голубчик, приняться за перевод Шекспира стихами. Надо познакомить нашу публику с этим великим писателем. Ты знаешь, что я всегда был шекспирианцем, *mon cher*. К тому ж переводом Шекспира в стихах легко можно составить себе в литературе громкое имя. В Петербург! В Петербург!..

В Петербурге – то ли дело?
В Петербурге – просто рай.
Не робей... Пиши лишь смело
Да деньжонки зашибай!

Adieu. Я твой whilst this machine is to him, как говорит Гамлет...»

По приезде в Петербург фельетонист завивается у Фаге, покупает галстук у Чуркина, шляпу у Фалелеева, пахучие перчатки под вывескою Оленя, надевает синий сюртучок с бранденбурами и кистями работы портного под вывескою: «Au Journal» и идет гулять по Невскому проспекту. В таком щегольском наряде он очень хорош! И, вероятно, чувствуя это, он появляется в первый раз на поприще фельетонное под псевдонимом «Светского человека». Его сюртучок с бранденбурами и кистями оправдывает смелость такой выходки. Дебюты фельетониста блистательны. Он подражает игривому и остроумному языку Жанена. Вот выдержка из них:

«Самая восхитительная, самая упоительная, самая новая и в одно и то же время самая старая новость в Петербурге – осень!.. О да... осень, грязная, бледная, холодная, сырая, без солнышка, с седым небом, с седыми днями, с темными ночами...»

«В Летнем саду грустно: желтые листья лежат на дорожках, как клочки разорванной бумаги на полу в кабинете пи-

сателя или как папильотки в будуаре аристократки; гуляющих почти нет. Летний сад весной и осенью – какая безграничная разница! Это свет и тьма, день и ночь, улыбка и слезы (осень в Петербурге дождливая)... Многие жалуются на петербургский климат; но всем и каждому известно, что уже в апреле месяце в Летнем саду повсюду цветут розы – прелестные, пышные, роскошные, душистые, упоительные; между этими розами встречаются и лилеи – нежные, прозрачные, белее карарского мрамора, даже ярче русского снега, озаренного русским солнцем!...»

Фельетонист мой определяется в департамент.

Он принимается за службу ревностно; он приходит в департамент первый и уходит последний... Столоначальник им чрезвычайно доволен и даже, разговаривая об нем однажды с начальником отделения, выражается про него так: «Это, я вам доложу, Иван Кузьмич, такой молодой человек... такой, что просто я вам скажу ну! – если он будет все так продолжать... Ну, так тогда пойдет далеко, будет благонадежным чиновником».

Но увы! Мой герой не оправдывает надежд своего столоначальника... Через два месяца служба надоедает ему. Он перестает ходить в департамент и, после замечания начальника отделения о нерадении, выходит в отставку.

– Я вышел в отставку затем, – говорит он одному своему трактирному приятелю, – затем, мон-шер, чтоб, знаешь, по-серьезнее этак на свободе заняться литературой.

Александрийским театром фельетонист недоволен, однако он не пропускает ни одного спектакля, отзываясь тем, будто ходит по должности (на последнее слово он сильно напирает); актеры ему не нравятся; однако он знакомится почти со всеми и даже находит себе много истинных друзей между ними. Он не только посвящает себя во все мелочные закулисные сплетни, но даже лично принимает в них деятельное участие. Этим отзываются все его театральные статейки. Он выбирает одного актера (с которым никак не мог сойтись по-приятельски) и одну актрису (которая находится под гневом его друга-актера) – и этих двух он громит в каждой своей статейке во имя искусства, и перед их фамилиями ставит обыкновенно по четыре восклицательные знака в скобках. Над публикою Александрийского театра он подсмеивается, а между тем половина партера в этом театре состоит из его задушевных приятелей, хотя он не более полугода в Петербурге...

Он входит в кресла, сбрасывая свою шинель на руки капельдинера, который кланяется ему и говорит с приятностию: «Здравствуйте, батюшка Петр Семеныч». Фельетонист протирает очки и глаза и спрашивает у капельдинера: «Что? начали?» – «Нет-с еще-с...» Значительно улыбаясь, с чувством собственного достоинства, он подходит к своему другу, литературному фактору, который, несмотря на совершенную безграмотность, приобрел себе некоторую известность в литературе изданием кое-каких литературных пье-

сок, альманахов и разных другого рода книжонок, ловко идущих с рук.

– Здравствуй, душа, – говорит ему фельетонист, трепля его по плечу.

Фактор оглядывается.

– А! Петя! Что это у тебя заспанные глаза?

Фельетонист поправляет очки.

– Что-то заспался, братец.

– Послушай-ка, Петя, знаешь...

Фактор наклоняется к уху фельетониста и шепчет...

Слышны только некоторые отдельные слова: кутили; пьяный; издаю; ее расхвалить; «Репертуар»... душка; мне обещал... «Пчела»... «Инвалид»... Фактор грозит пальцем фельетонисту и хохочет, приговаривая:

– Экая ты шельма, братец! Минута молчания.

Фактор со вниманием осматривает первый ряд кресел и потом стремительно обертывается к фельетонисту:

– Петя, Петя, посмотри-ка, кто затесался в первый-то ряд...

Фельетонист протирает очки.

– Ба, ба, ба! да это наш Максим Петрович?

Максим Петрович, или, правильнее, Максим Петров, – книгопродавец, и притом книгопродавец «добросовестный». Так по крайней мере величают его «добросовестные» журналисты.

Мой герой, разумеется, в самых приятельских отношени-

ях, на самой короткой ноге с «добросовестным» книгопродавцем.

– Максим Петрович, Максим Петрович!.. – бормочет он дружески, кивая ему головой и маня его рукою...

Книгопродавец, отягощенный галантерейностями, подходит к фельетонисту и фактору, которые с чувствомжимают ему руку.

– Ай да Максим Петрович! Экой франт!.. – восклицает фельетонист, осматривая с ног до головы книгопродавца. – Нечего сказать, мастер одеваться.

Книгопродавец ухмыляется.

– Что же-с... ничего-с, – говорит он, приятно обдергиваясь...

В эту минуту к ним подходит офицер, имеющий некоторое поползновение к литературе и сочинивший водевильчик. Снова взаимное пожимание рук.

Офицер посматривает с чувством на фельетониста.

– С каким наслаждением, – говорит ему офицер, – я прочел вашу последнюю статейку о бенефисе Толченова... Как живо вы это все умеете описать, и как это у вас все выходит... так и льется точно вот как будто...

Офицер останавливается, потому что решительно не знает что сказать далее.

Да-с, – замечает «добросовестный» книгопродавец, – уж они на это мастера... Прелесь какое у них перо! Так и нижут-с, ей-богу.

Глазки фельетониста принимают масляное выражение... Он тает от этих похвал.

– Петр Семеныч, – продолжает книгопродавец, – после спектакля не зайтить ли в ресторанчик?.. Выпить бы бутылочку другую шампанского не мешало.

– С удовольствием...

Занавес поднимается. Во время представления фактор значительно перемигивается с фельетонистом.

После спектакля все эти господа отправляются ужинать на счет «добросовестного» книгопродавца...

Славно и весело жить в Петербурге! Петербургская жизнь сильно нравится моему фельетонисту... Особенно он любит обедать на счет литературного фактора и ужинать на счет «добросовестного» книгопродавца. Вино прекрасное, и разговоры также не дурны. За этими обедами и ужинами ему не раз удавалось между прочим скропать несколько удачных куплетцев вместе с одним актером. И куплетцам этим, говорят, очень аплодируют на сцене Александрійского театра.

Фельетонист, кроме водевильчиков, занимается также сочинением повестей. В этих повестях героини – по большей части идеальные и чувствительные, омарлинизированные девицы, страстные охотницы до поэзии, легкие, дымчатые, туманные, у которых волосы

...с неистовым извивом
И заключены, как сталь,

В бесконечную спираль!

а герои – юноши бурные, стремящиеся куда-то и к чему-то, с клокочущими страстями, презирующие все земное и повседневное, порывающиеся непрестанно ввысь и рассуждающие у Излера за растегайчиком о высоком и прекрасном, – потягивая, по энергическому выражению одного из наших поэтов, нервный сок винограда,

...струю кроваву

До осушки стеклянных дон!

Эти идеальные девицы приковывают обыкновенно себя к судьбам этих бурных юношей, – и повести разрешаются трагически...

В первые дни своего пребывания в Петербурге фельетонист очень сердится на недобросовестность некоторых петербургских журналистов и газетчиков, авторитеты которых основаны на двадцатипятилетней давности; он сильно бранит их, потому что оскорблен ими. До него дошли слухи, что эти двадцатипятилетние авторитеты называют его недоучившимся мальчишкой, – и он хочет жестоко отделать их в какой-то статейке.

Он пишет в Москву к приятелю:

«По приезде в Петербург на меня, моншер, с ожесточением накинулись Н. Н. и Ф. Ф. – эти литературные вампиры и хотели высосать из меня всю кровь; но я славно отделал их,

так что они надолго теперь прикусят язычки. Их недобросовестность возмутительна: я благодарю бога за то, что принадлежу к той литературной партии, которая пользуется уважением всех достойных людей... Вчера я был на литературном вечере у князя...» и проч.

Он пишет, а внутренний голос говорит ему:

«Послушай, голубчик, не ошибаешься ли ты, называя господ Н. Н. и Ф. Ф. вампирами? Какие они вампиры! они очень добрые и веселые люди и сочинители хорошие; ведь они не признают в тебе достоинств потому только, что ты находишься в работниках у заклятого врага их; отойди от него – и они примут тебя с распростертыми объятиями, будут хвалить и восхищаться тобой и находить в тебе замечательный талант... Они могут доставить тебе настоящую известность, которой ты так давно и напрасно добиваешься...» Фельетонист задумывается и закуривает трубку.

«Неужели они меня примут с распростертыми объятиями? – недоверчиво спрашивает он у своего внутреннего голоса, приятно усмехаясь. – Впрочем, если бы и так, то могли я теперь идти против самого себя, могу ли изменить собственным мыслям, чувствам, убеждениям?»

«Сколько лет я постоянно толкую тебе, – отвечает ему внутренний голос, – что у тебя нет ни мыслей, ни чувств, ни убеждения, а только небольшая претензия на все это да пустой и глупый идеализм, из которого тебе, как и всем тебе подобным, нет выхода. Ты беспрестанно толкуешь о ка-

кой-то литературной добросовестности. Что же такое разумеешь ты под этой литературною добросовестностию? Сегодня ты в наймах у одного журналиста и по необходимости, а не по убеждению прославляешь своего хозяина; этот теперешний хозяин твой, право, ничем не выше других, врагов его, на которых ты теперь так жестоко нападаешь: завтра ты отойдешь по обстоятельствам к этим другим (знай, что по собственному бессилию ты всегда будешь жалким рабом обстоятельств и случая); завтра, говорю я, отойдешь ты к этим другим за лишних 500 рублей в год, и те, в которых ты в сию минуту кидаешь полемические шарики, принимая эти шарики за камни, станут твоими кумирами, и, по приказанию этих новых кумиров своих, ты будешь называть белым то, что называл за день перед тем черным, и наоборот. Ведь это тебе ничего не стоит. У тебя нет своего мнения, своей воли; ты поешь, друг мой, с чужого голоса; ты вечно останешься на посылках у других; отними у тебя постороннюю волю, заставляющую тебя двигаться, – ты сейчас же превратишься в автомата, в куклу, в ничто...»

Фельетонист вскакивает со стула, бросает с негодованием из рук перо, поправляет судорожно очки и начинает ходить в волнении по комнате. Никогда еще так резко не говорил с ним его внутренний голос.

– Нет, это уж ни на что не похоже! – восклицает он, – внутренний голос мой просто нашептывает мне нестерпимые дерзости. Что, в самом деле, давать ему волю! Я задум-

шу его... Так клеветать на меня! Уж будто я не имею своего мнения и своей воли! Нет, я не способен быть дезертером... Я докажу это... Убеждения мои непоколебимы... я не...

Он не доканчивает и только в благородном гневе затягивается и выпускает изо рта тучу дыма.

«Не горячись, голубчик, – спокойно продолжает его внутренний голос, – мнения своего, точно, ты не имеешь: ты или выкраиваешь кое-как свои статейки из чужих статей и после неблагодарно злословишь благодетелей, снабжающих тебя новыми мыслями и новыми словами, или кропаешь статейки по заказу своих хозяев... Твои же собственные остроумные сочинения мне наперечет известны: один раз ты объявлял публике за новость, что в Петербурге осень; в другой раз, что в апреле месяце в Летнем саду цветут розы и лилеи... в третий...»

Фельетонист робко осматривается кругом: он боится, не подслушивает ли кто-нибудь его разговор с внутренним голосом...

«Не бойся, – говорит внутренний голос, – нас никто не может подслушать... Я говорю слишком тихо... Все это останется между нами; не сердись... Я тебе объясню несколько самого тебя и твои узкие понятия, которые без определения бродят в голове твоей. Твои толки о добросовестности – верх пошлости. Эти толки доказывают только твою ограниченность и неразвитость. Добросовестность – это изъезженный и избитый конек, на котором выезжают исстари лите-

ратурные гаеры и спекулянты, ломающиеся друг перед другом на Литературном ристалище на позор публики. Никто из этих господ, точно так же как и ты, не имеют никаких убеждений, никаких идей. Все они только хлопочут о том, как бы нажить поскорее и побольше денег, да зажить барами.

Немного в вашей литературе людей с мыслями, с убеждением. И кто понимает их? Кто их оценивает? Кто их знает? Не завидна их участь. Они из куска насущного хлеба трудятся в поте и крови, а литературные спекулянты, пользуясь их трудом, умом и талантом, богатеют, жиреют, оплывают и пользуются славою на счет их. Все это ты очень хорошо знаешь. Но с этими немногими – тебе нечего делать. В их обществе нет тебе места. Ты давно умер бы с ними от тоски, если бы не знал других людей, – тех, которые в Александрийском театре как у себя дома; которые за ужином в каком-нибудь кафе-ресторане или за обедом у Палкина – душа общества, которые живут нараспашку с бутылкою в одной руке, с картой в другой... Первые – презирают тебя; при них ты и рта не смеешь разинуть, сидишь нахмутив брови да покуриваешь трубку, а самолюбьице твое, этот неугомонный червячок, подтачивает тебя в эти минуты, – и, скрывая свое внутреннее беспокойство, ты беспрестанно поправляешь свои очки. Вот откуда вывожу я начало этой привычки твоей. Последние всегда принимают тебя с распростертыми объятиями, ты избранный в кругу их, ты оракул в их обществе; ты читаешь им свои водевильные куплетцы, свои по-

вести, и тебе они рукоплещут, у тебя они спрашивают советов... С первыми у тебя нет ничего общего, с последними у тебя связь кровная и родственная. Ты не имеешь силы воли для того, чтобы сделаться человеком – и жить в человеческом обществе. Ты заклеямен именем фельетониста; и в могилу сойдешь с этим именем. Пойди же к своим и живи с ними. Там у Излера ожидают тебя литературные факторы, книгопродавцы, актеры и другие тому подобные...»

Фельетонист чувствует тяжесть в голове и сухость на языке... Он прохаживается по комнате, поправляет очки, еще раз затягивается и задумывается; чубук выпадает из рук его.

В эту минуту дверь комнаты фельетониста отворяется с шумом, он взвизгивает: перед ним стоит его друг – литературный фактор...

– Петя, – восклицает он, – Петя, что это с тобою? Ты как будто чем-то расстроен; или статейку, плут, сочиняешь?

– Нет... не знаю... голова немножко болит.

– А я к тебе, Петя, с новостью... Б. Б. Б. отказался от фельетона в **... газете. Вот бы, Петя, тебе на его место. Что, братец, ты связался с пустым народом! Ведь вашей газеты никто не читает, – а наша имеет три тысячи подписчиков. Слышишь? Три тысячи человек будут читать твой фельетон!.. а? ей-богу наши во всех отношениях лучше... Мы, братец, вес имеем, – тебя будут в нашей газете расхваливать. Ведь Ф. Ф. отличный человек – и как живет весело... Стол славный и винцо – чудо!.. Он уж у меня спрашивал про тебя.

Я тебя с ним сведу непременно.

– Странно! – замечает фельетонист будто про себя, – то же самое сейчас советовал мне и мой внутренний голос.

– Кто такой? какой это внутренний голос?

– Нет, так, я не то хотел сказать.

– Ей-богу, порешай-ка, дружок. А я хоть сейчас съезжу к Ф. Ф., скажу, что ты согласен перейти к нам; сегодня же покончим всё... А, Петя? Ну, по рукам, что ли?.. и денег будешь вдоволь получать, и все так мило пойдет. Шампанеи на такой радости хватим, – ну, решайся.

Фельетонист поправляет очки.

– Видишь ли, душа моя, мне немножко совестно перед... перед**...

– Ей-богу, и не думай, братец, о нем, и не говори ему ничего; он и не узнает, – перешел себе от него, да и баста... А коли примет к допросу... Ну скажи, что... да ты сам лучше меня выдумаешь, что сказать. По рукам, что ли, Петя?

– Дай, голубчик, подумать... Статьи я, пожалуй, начну писать для вашей газеты хоть теперь... Что же касается до полного согласия...

Однако через несколько времени фельетонист мой торжественно подает руку фактору. Решено! Труден только первый шаг, а там – ничего, там не страшно. Фельетонист заключает дружеское условие с тем газетчиком, которого он за неделю перед тем называл вампиром, – потихоньку, на цыпочках перебирается в его газету и, благословись, начинает работать

на новоселье.

Фельетонист очень доволен своим новым барином. Он вместе с ним гуляет и пьет. Он лицемерит перед ним и смотрит ему в глаза. Он уж беспощадно ругает всех принадлежащих к той литературной партии, к которой сам принадлежал вчера. Он уже начинает нападать на своего старого хозяина, – сначала, правда, робко, с некоторою осторожностью, а потом подбочась, с нахальством и грубостью возмутительною. Он выбивается, бедный, из всех сил, чтобы показать свое усердие перед новым барином.

Незаметно и постепенно он теряет стыд и чувство приличия – последнее человеческое чувство, отделяющее его от животного, – и делается способным на все: он подшучивает самым площадным образом над благородным тружеником науки, к которому не благоволит его барин; он обвиняет в невежестве и в безграмотности литератора, скромно и бескорыстно трудящегося в тиши своего кабинета, потому только, что тот не хочет участвовать в изданиях приятелей его барина; он за сладкий пирожок пишет похвальное слово кондитеру; за десять сигарок восхваляет табачную фабрику; за фунт икры строит комплименты овощной лавочке; он на литературной площади бессменно стоит у дверей балагана своего хозяина и кричит: «К нам пожалуйста-с! у нас все лучшие товары-с и беспристрастие самое отличное-с; нас и публика любит; мы умнее и учение всех; у нас все работники с хорошими аттестатами, – а в той лавочке, что напротив нас,

ей-богу, всё невежды, без аттестатов; поверьте этому-с, там проповедуют разные пустые идеи... пожалуйста к нам-с; раскаиваться не будете-с!»

Цинизм совершенно овладевает моим фельетонистом: он показывается неумытым перед публикою, он лежит дома в грязи... Рамы на его картинках с разбитыми стеклами, по стенам гирлянды паутины, на всей мебели пыль слоями, на столе бутылки с вином и опрокинутые стаканы; под столом карты и табачный пепел.

– Ты плут, Петя, а? Право, плут! – кричит ему актер, развалившийся на оборванном диване без сюртука... – Налей-ка мне, канашка, еще стаканчик...

Но руки фельетониста дрожат, он льет вино мимо стакана.

Фактор, офицер, сочинивший водевильчик, и «добросовестный» книгопродавец хохочут во все горло.

Офицер кричит:

– Петя, я тебя непременно выставлю в моем новом водевиле.

А книгопродавец прибавляет:

– А мы напечатаем-с ваш водевильчик-с, да еще с политипажами-с.

Входит корректор с пробными оттисками.

Фельетонист, пошатываясь, бросается навстречу к корректору с стаканом вина, вырывает у него листы из рук и кричит:

– Ну брось, братец, эту дрянь... брось все это; чокнем-

ся-ка по-приятельски, запросто... Винцо доброе... мы все, братец, братья, я тебя люблю душевно...

Такого рода пирушки чаще и чаще; реже и реже фельетон украшается именем моего героя; у него глаза опухлые и вечно заспанные; корректуры читаются кое-как; в газете бесчисленные опечатки. Природная апатия фельетониста превращается наконец в совершенное оупение и отвратительную лень... Журналист-вампиp, его новый хозяин, выгоняет его из своей лавочки, журналист неумолим: он не хочет взять в соображение прежние заслуги своего клеветы: он забыл, что бедняжка, не щадя себя, кувыркался перед ним и перед его приятелями и заманивал прохожих в его балаган, не жалея своего горла.

Куда же теперь пойдет мой прогнанный фельетонист? что ему делать?.. Водевили его, поставленные на сцену, ошканы; мебель его отдана за долги, платье изношено...

Он в положении ошкпанной и заклеванной вороны в басне Крылова... Скрепив сердце, приходит он к своему прежнему приятелю и собутыльнику – «добросовестному» книгопродавцу и униженно просит у него работы. Книгопродавец, отягченный галантерейностями, величаво стоит у своей конторки. Он, не глядя на него, бормочет:

– После зайдите-с... теперь некогда... видите сами: я занят... Мне не до вас...

Впрочем, через неделю он заказывает ему перевести (разумеется, за бесценок) детскую книжку к святой неделе да

две брошюрки: о наивернейшем средстве истреблять клопов и проч., да о удивительнейшем эликсире, отращаивающем на плешинах густые и отличные волосы... Такого рода сочинения, говорят, у нас очень расходятся...

«Так вот та литературная известность, которой я добивался?» – говорит фельетонист, поправляя разбитые очки, перевязанные ниточкой, и вместо слез по лицу его катятся капли холодного пота; а внутренний голос пробуждается в нем последний раз, указывает ему на его бессилие и ничтожество и с злобною насмешкою говорит ему:

И если карлой сотворен,
То в великаны не тянися!

Проходит год. Бездельно шатается по петербургским улицам отставной фельетонист в старой, забрызганной грязью шинели; клочки ваты висят бахромой на ее подоле; калоши сваливаются с ног. Он заходит в кондитерскую, садится на стул и дремлет... Шум и крик заставляют его очнуться. В комнату входят все прежние друзья его: литературный фактор, офицер, сочинивший водевильчик, Б. Б. Б., снова поступивший в звание фельетониста на его место, водевильный актер и «добросовестный» книгопродавец, отягченный галантерейностями... Все они очень веселы. Отставной фельетонист, увидя их, закрывает лицо свое огромным листом французской газеты и не шевелясь долго просиживает за

этими ширмами.

– Посмотри-ка, – говорит фактор, прищуриваясь и толкая локтем Б. Б. Б., – ведь это, mon cher, Петя.

Бедняжка, до чего дошел! на него и посмотреть гадко!.. Гарсон! рюмку ликеру!..

– Толковал я вам, господа, – возражает Б. Б. Б., обращаясь к фактору, офицеру, актеру и книгопродавцу, – что в вашем Пете никогда никакого толку не было. Он был решительно не способен для фельетонной работы; ведь для этого, господа, нужно остроумие, ловкость, своего рода такт...

– А уж водевильчики его – признаюсь! – замечает актер:

Ведь такие водевили
Просто хуже всякой гили...

– Bravo! bravo! – восклицает офицер. – Вот вам и начало куплетца.

Отставной фельетонист тихонько подкрадывается к двери – и нечаянно натывается на «добросовестного» книгопродавца, отягченного галантерейностями. «Добросовестный» книгопродавец с презрением осматривает его с ног до головы – и потом подходит к зеркалу и охорашивается. С этого дня мой герой пропадает без вести; его нигде не видно: ни на улицах, ни в трактирах, ни в кондитерских... Он сошел со сцены... На эту сцену входят другие, не менее достойные его...

Подобных русских фельетонистов Гоголь заклеил именем Тряпичкиных. Лучшего имени для них нельзя придумать! Друзья Тряпичкиных, – Хлестаковы и Ноздревы.